

Р. АРОН*

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

Одно и то же слово на французском, английском и немецком языках применяется к исторической действительности и к знанию, которое мы о ней имеем. История, History, Geschechte одновременно обозначают становление человечества и науку о своем становлении, которую люди стараются разработать (даже если двусмысленность смягчена в немецком языке существованием слов Geschehen, Historie, которые имеют лишь один из двух смыслов).

Мне кажется, что эта двусмысленность хорошо обоснована; действительность и знание этой действительности неотделимы друг от друга таким образом, который ничего общего не имеет с взаимосвязью объекта и субъекта. Физическая наука не есть элемент природы, которую она изучает (даже если она им становится в процессе ее преобразования). Сознание о прошлом есть составная часть исторической экзистенции. Человек действительно имеет прошлое лишь в том случае, если он это осознает, ибо только это сознание включает возможность диалога и выбора. Иначе говоря, индивиды и общества носят в себе прошлое, которое они не знают, но воздействию которого они пассивно подвергаются. В известных случаях они представляют постороннему наблюдателю ряд изменений, которые можно сравнить с изменениями видов животных и которые могут быть расположены во временном порядке. Пока они не осознают того, кем являются и кем были, они не достигают подлинного измерения истории.

Следовательно, человек одновременно является субъектом и объектом исторического познания. Именно исходя из этого, мы поймем характерную черту как науки, так и философии. Такова действительная, единственная цель этого краткого эссе. Речь не о том, чтобы предложить философию истории и не о том, чтобы сделать обзор философий истории, начиная с Августина и кончая Шпенглером и

* Арон Р. — крупнейший французский философ, социолог, политолог, основатель критической философии истории — внес заметный вклад в западную социально-философскую и политическую мысль. Публикуемый отрывок взят из его книги «Измерения исторического сознания», опубликованной в Париже в 1961 году.

Тойнби. Такого рода обзоры существуют, и чем они короче, тем менее удовлетворительны. Речь идет о том, чтобы понять истоки, функцию и характерные черты философии истории. Чем она отличается от исторической науки, целью которой тоже является воспроизведение и интерпретация прошлого человечества? Является ли она пережитком донаучного периода или необходима цивилизациям, которые больше не могут обойтись как без глобального видения своего хода, так и без изображения мира?

1

История есть воссоздание живыми и для живых жизни умерших. Следовательно, она порождается современным интересом, и думающие, страдающие, действующие люди находят нужным изучение прошлого. Поиск прародителя, обаяние и слава которого продолжают до настоящего времени, хвала добродетелям, которые строили и развивали полисы, рассказ о бедствиях, желаемых богами и вызванных ошибками людей, которые ускорили разрушение; коллективная память, как и память индивида, исходит из мифической или легендарной фикции и с трудом прокладывает дорогу к действительности. Пусть свежесть впечатлений нас не обманывает: надежность воспоминаний не есть свойство молодости.

Историческая наука начинается (есть ли необходимость говорить о том, что речь идет о диалектическом ряде, а не о реальной последовательности?) с реагирования на воображаемые преобразования прошлого. Стараются установить или воссоздать факты с помощью самых точных методов, определяют хронологию, берут мифы как таковые и легенды как объект, чтобы придти к порядку и через него к событию, которое их породило, короче, чтобы воспроизвести знаменитую фразу Ранке: высшая цель историка — это знать и дать знать *wie es geschehen ist* как это произошло. Чистая реальность, такова его конечная, единственная цель.

Сегодня известно, к каким значительным результатам пришло стремление многих поколений историков, порвавших с методами исторической критики. Благодаря этим завоеваниям науки, несмотря на значительные пробелы в знании, наша цивилизация впервые в истории сформировала себе представление о большинстве умерших цивилизаций. Сама живая находится среди умерших, осознает свою сингулярность и свою хрупкость. Конечно, никакому историку сегодня не удастся доминировать над совокупностью накопленных материалов.

Победа исторической науки приводит к победе узких специалистов. Единство истории растворяется во множестве дисциплин, каждая из которых ограничена фрагментом веков или областью исчезнувших обществ. Но какое значение имеет это растворение? Оно представляет собой изнанку или, скорее, признание науки: то же самое касается естественных наук. Время энциклопедистов прошло, и каждый привыкает к своей ограниченности. Тем не менее, прошлое, ушедшее в небытие, но частично сохранившееся в памятниках и письменных текстах, мало-помалу было воссоздано в своих огромных точных измерениях, в своих бесконечно изменяющихся перспективах терпеливой любознательностью поколений.

Речь не о том, чтобы поставить под сомнение заслуги научного метода, чтобы скомпрометировать посредством дешевого скептицизма неизбежное распространение научного поиска и точного объяснения. Но мы совершенно недооценили бы современную ситуацию, если бы забыли, что за вторым этапом диалектики, т. е. за этапом собственно научного изучения обязательно следует третий — этап критического размышления, которое не отбрасывает научное изучение, как, например, последнее отвергает мифологическую услужливость, но определяет его границы и собственную значимость. Это критическое размышление представлено в двух формах: в форме «Несвоевременных» Ницше и в форме применения к историческому познанию кантовской философии (Дильтей, Риккерт, Зиммель, Макс Вебер).

«Несвоевременные» Ницше были интерпретированы и использованы многократно. Но основная идея, на наш взгляд, всегда актуальна. Она сводится к такому простому предложению: восстановление прошлого не есть самоцель. Когда это восстановление руководствуется современным интересом, то оно приобретает современную цель. Живые в познании прошедшей жизни ищут не только удовлетворение желания знать, но и обогащение духа или определенный урок.

Из эссе Ницше особенно запомнили идею *монументальной* истории, потому что она прямо противопоставляется чистой науке в духе позитивизма. В сущности, более чем очевидно, что люди и события одинаково достойны изучения, что некоторые люди или творения в силу их ценности или большого значения особенно привлекают наше внимание. Научная практика действительно идет в

этом направлении, хотя, оставленная на произвол судьбы, эрудиция склонна считать любой факт интересным. Особенно включение ценностей в реальность рассеивает иллюзию о чистом и простом воспроизводстве того, что было, проясняет неизбежную и законную связь прошлого с настоящим, историка — с историческим персонажем, памятника — с людьми, которые им восхищаются.

К тому же Ницше не отрицает необходимость и достоинства эрудиции, накопления материалов, строгости в критике источников и установлении фактов. Он только считает, что эти подготовительные приемы оправдываются тем, что после них занимаются действительной историей: монументальной, критической или антикварной историей. История всегда остается на службе жизни, даже если предлагает модели, судит о прошлом или располагает современные моменты в становлении. История выражает диалог настоящего и прошлого, в котором настоящее начинает и сохраняет инициативу.

Независимо от того, поносили или бурно приветствовали теорию Ницше, она представляла серьезную опасность. Она легко скатывалась к презрению науки и истины. Она побуждала к противопоставлению двух типов историков и историй; историков, которые ограничиваются сбором материалов, и историков, которые из них извлекают смысл. Это противопоставление ирреально и губительно, потому что сущность истории как науки о конкретном заключается в том, чтобы снова найти смысл на уровне события или уникального общества, потому что интерпретация, не вытекающая из фактов, произвольна, потому что необработанный факт немыслим. Заслугой работ, исходящих из кантианства, является то, что они восстанавливают единство, выясняют практическую взаимозависимость и логическую необходимость там, где ницшеанские выражения наталкивали на двойственность, имеющую не фатальный, а желательный характер в интересах живой культуры.

Критика исторического познания кантианского толка без особого труда сводится к некоторым основным идеям. Историческая наука не является простым и чистым воспроизводством того, что было, так же как физика не является воспроизводством природы. В обоих случаях дух действует и создает интеллигибельный мир, исходя из необработанного данного. Но если история представляет такое же восстановление, как физика, то тем не менее она есть реконструкция совершенно другого типа. Конечная цель физики —

систематизированная совокупность законов, которые могут быть дедуцированы друг из друга. Конечная цель истории — единая последовательность событий, которые нельзя наблюдать дважды, это становление обществ и человеческих культур. Физика имеет в виду закон, историческая наука — *единичное*.

Никакая наука никогда полностью не примет во внимание все реальное, каждая наука имеет собственный метод отбора, преследует цель выделить то, что достойно объяснения или служит объяснению того, что достойно объяснения. Отбор в физике со времен Аристотеля до Эйнштейна изменился. Но от начала до конца она сохраняет некоторые отличительные черты. Физик интересуется не камнем, который, падая, убил прохожего, а тем, как падают тела; описания носят не пространственно-временной (в данном месте, в данное время), а абстрактный и, так сказать, теоретический характер. Они являются результатом редукции сложного к простому (в вакууме, в атмосфере, в свободном падении и т. д.). Нельзя представить себе подобную редукцию в области исторической науки. Как же проводится отбор, без которого исследование продолжалось бы до бесконечности, так и не исчерпав минимального фрагмента действительности и ничтожно малого момента времени? Кантианская критика ответила на вопрос, используя термин «ценность». Историческое познание занимается теми событиями, которые относятся к ценностям, подтвержденным актерами или зрителями истории. У нас нет возможности для более глубокого анализа понятия ценности. В том простом значении, которое ему придает Макс Вебер, термин «ценность» примерно эквивалентен понятию «область интересов». Из прошлого мы помним то, что нас интересует. Исторический отбор руководствуется вопросами, которые настоящее ставит прошлому. Возрождение образов, которые люди создали себе об исчезнувших цивилизациях, связано с этим изменением вопросов, которым руководствуется отбор.

Такое возрождение тем более значимо, что под отбором следует подразумевать не предварительный, раз и навсегда заверченный прием, но непрерывную ориентацию работы в исторической науке. Отбор заключается не в том, чтобы фиксировать или игнорировать тот или иной факт, а представляет собой определенный метод конструирования фактов, выбора понятий, организации совокупностей, расположения событий или периодов. Вместе с тем, можно объяснить, что философия кантовского толка в этом случае приводит не к

обоснованию всеобщей законности знания, а к побуждению к релятивистской интерпретаций. Чувственные формы, рассудочные понятия гарантировали в качестве условия науки универсальность в той мере, в какой они были значимы для всех. Напротив, ценности или интересы, на которые ссылается историческое познание, не имеют универсальной значимости. Они меняются вместе с эпохами. Так, сторонники философии кантовского толка защищают ставшую уже классической формулу: каждое общество имеет свою историю и по мере того, как оно меняется, переписывает ее заново. Окончательно прошлое определяется лишь тогда, когда оно больше не имеет будущего.

Нужно ли за этим третьим временем, представляющим собой объединение на высшем уровне двух предыдущих моментов, постигать новую диалектику? Преодолевается ли релятивизм, как последний преодолевает противоположность между сказочным преображением и научной волей? Не думаю. Мне кажется, достаточно уточнить границы релятивизма, к которым мы пришли.

Один из мыслителей кантовского толка, Риккерт, определил эти границы, используя понятие ценности. Исторический отбор значим только для тех, кто устанавливает систему отсчета, и в этом смысле он не имеет универсального значения. Но, исходя из решающего, т. е. произвольного отбора, другие методы истории могут иметь строго научный характер, претендовать на универсальную значимость. Конкретнее и проще говорил Макс Вебер: каждый историк ставит свои вопросы и свободно их выбирает. Если вопросы поставлены, то ответы зависят исключительно от реальности. Каузальные связи фактов, если даже конструкция этих фактов нам продиктована современным интересом, истинны или ложны (как бы не было трудно это доказать и, следовательно, как бы не было трудно доказать коэффициент вероятности, связанный с высказываниями). Кроме постулирования этой гипотетической всеобщности (всеобщая значимость на базе свободного решения), Риккерт считал, что можно преодолеть первоначальную релятивность, приписываемую отбору, либо путем изучения каждого периода по отношению к ценностям, которые были ему свойственны, либо путем разработки всеобщей системы ценностей.

В любом случае, последняя позиция истину науки подчиняла истине системы ценностей, т. е. в сущности — философии. С другой стороны, всеобщая система ценностей, как представляется, неизбежно

носит формальный характер. Ведь вопросы, которые историк ставит перед реальностью, в основном имеют точный и конкретный характер. Наконец, простой факт соотнесения эпохи с ценностями последующей эпохи вводит в интерпретацию прошлого принцип возрождения. Но неясно, по какому праву можно навязать историку осмысление общества исключительно таким же образом, каким оно себя осмысливало (или, что то же самое, соотнести каждое общество со своими ценностями, а не с ценностями будущего). Нет уверенности в том, что историку когда-либо удастся отказаться от самого себя, от своего настоящего; но если даже он мог бы это сделать, то должен ли так поступать? Как раз соотнесение прошлого с настоящим приводит прошлое к выдаче тайны, которая до сих пор скрывается в самых усердных исследованиях. Наконец, теория исторической объективности, которая наверняка применяется к каузальным связям и которой довольствуется Макс Вебер, опирается на слишком простое понимание отбора. Если совокупность исторической конструкции определяется поставленным вопросом или системой ценностей, то как раз потому, что полное восстановление, которое будет носить следы решений историка, будет целиком зависеть от одной точки зрения, от одной перспективы, которую в лучшем случае можно признать законной и плодотворной, но не обязательно истинной для всех.

Однако, как нам кажется, этот релятивизм, о котором свидетельствует сама история исторического познания, не так уж опасен для науки, если его правильно интерпретировать. Имеющее о нем представление сознание отмечает успех философии, далекий от скептицизма. Границы исторического релятивизма связаны прежде всего со строгостью методов, с помощью которых устанавливаются факты, с необходимой и понятой непредвзятостью ученого до тех пор, пока он ограничивается дешифровкой текстов или интерпретацией свидетельств. Они также связаны частичными отношениями, которые, исходя из некоторых данных, могут быть выделены из самой реальности. Каузальная связь между событием и его antecedентами, личная ответственность каждого историка, которая определяется ретроспективными подсчетами вероятности, может быть, включает в себе определенную недостоверность, но не релятивность. Отношение между действием и его мотивами, ритуал и система верований, проблемы, переданные философской системой и решения, данные последующими системами, поддаются пониманию, которое получает

свою интеллигибельность из самой структуры объекта. Исторический релятивизм, так сказать, преодолевается, как только историк перестает претендовать на невозможное и, отстаивая свою точку зрения, старается признать позиции других. Не то, чтобы, строго говоря, можно было переходить от одной позиции к другой: здесь нет численной константы или исчисляемой эквивалентности. Но удается понять разные позиции, даже когда они носят противоречивый характер, и их множественность — не признак провала, а выражение жизни.

Здесь, на мой взгляд, присутствует главная идея, которая корректирует вульгарную интерпретацию исторического релятивизма. Пусть перестанут интерпретировать историческое познание прошлого согласно схеме трансцендентального «я», которое информирует инертно; пусть снова поставят историка в историческую реальность, пусть ссылаются на структуру этой реальности, пусть смысл предыдущих формул меняется совершенно. Прошлое человеческое существование богато такими же значениями и плодотворными двусмысленностями, какими богато историческое познание. Последнему не удастся дать единственную и обязательную для всех версию обществ, эпох и культур, ушедших в небытие — такого единственного значения никогда не существовало ни на земле, ни на небе. Открытие или новое непрерывное открытие прошлого выражает диалог, который будет длиться до тех пор, пока существует само человечество, и который определяет суть истории: коллективы, как и индивиды, узнают себя друг в друге и обогащаются в контакте друг с другом.

2

Гораздо труднее, хотя обычно об этом не думают, различать науку и философию истории. Если исследование прошлого вызывается и диктуется настоящими интересами, то не входит ли во все исторические интерпретации система ценностей как своего рода философия? В самом деле, как свидетельствует опыт, можно обнаружить неявную философию у крупных историков. Идет ли речь об отношениях индивида и коллектива, об относительной важности политических блоков или экономических режимов, о зависимости или независимости идей от социальной инфраструктуры, о взаимовлияниях между различными факторами истории, все равно из всякой

исторической работы можно выделить теорию, которая частично уже разрабатывалась и была известна. На этом основании рождается склонность к устранению различий между наукой и философией; наука обнаруживает, что она может проявить себя лишь в том случае, если будет пропитана философией, а философия, в свою очередь, обнаруживает, что она может достичь конкретной истины лишь тогда, когда будет иметь контакты с фактами.

Однако, на мой взгляд, это уподобление недооценивает различий, имеющих большое значение. Во всяком историческом рассказе имеются некоторые элементы философии истории, но они остаются имплицитными и невыраженными. На практике они сводятся к рабочим гипотезам, к идеям исследования. Философия, напротив, полностью выделяет их для систематизации. Историк включает их в интерпретацию фрагмента прошлого, а философ использует для интерпретации всего прошлого. Для первого истина проявляется в результатах, достигнутых благодаря этим направляющим идеям, но за их пределами. Для второго идеи являются сущностью, опорой и гарантией истины.

Следовательно, здесь обнаруживается два противоположных направления исследования и мысли. Мне кажется, что противоположность, связанная с сущностью, имеет двоякий характер: с одной стороны, она связана с масштабом объекта — философ всегда имеет в виду целое, а ученый — часть. С другой стороны, даже когда историк описывает всеобщую историю и, следовательно, тоже берется за целое, он стремится не выходить за пределы фактов, старается извлечь из самого материала основные пункты своего повествования: он хочет определить не истину человеческого развития, а просто реальность становления.

Чтобы эти абстрактные замечания сделать более ясными, последуем за поэтапными приемами исторического познания — от фрагмента до целого. От начала до конца эти приемы остаются сходными. Обычно говорят, что философия истории есть интерпретация смысла совокупности исторического прошлого. Но оба главных и взаимодополняющих приема — «составление совокупностей» и «детерминация смысла» — проявляются независимо от того, идет ли речь об отдельном факте, как, например, битва при Каннах, или об огромном факте, как, например, эволюция культуры.

Историк, излагающий битву при Каннах, показывает нам, как римская пехота атакует центр карфагенской армии. Но он не ограничивается описанием этого движения — столкновения пехотинцев — а делает событие понятным для нас, связывая его с двумя намерениями: с намерением Ганнибала, жаждавшего окружить римские легионы, и с намерением римлян, стремившихся разбить неприятельскую армию. В этом простом случае уловить смысл действия или исторического факта означает снова найти намерения действующих лиц или, выражаясь феноменологическими терминами, интенциональные содержания их жизненного опыта.

Приведенный пример особенно прост. Намерение в сознании действующего лица (по крайней мере в сознании Ганнибала) почти полностью совпадает с развертыванием битвы. Это совпадение прежде всего связано со строго рациональным характером намерения военного руководителя, который точно связывает средства с целью, т. е. маневры своих войск с победой. Оно так же связано с победой одной воли над другой, с победой карфагенской воли над римской. Предположим, что рассматриваемый факт определен тем, что был совершен обряд жертвоприношения до начала сражения: тогда исследуемый смысл будет смыслом этого ритуала в системе верований, которые его делают понятным. Сразу же мы встречаемся с множеством двусмысленностей исторических значений: первоначальный и современный смысл ритуала, подлинная вера или скептицизм того, кто ритуал воспроизводит, и т. д. Значительная часть исторической работы состоит в том, чтобы раскрыть эти причастные и напластованные смыслы, чтобы выяснить положение, занятое различными сознаниями в отношении значений, вложенных в их жесты. Общества живут своими традициями: историк старается их понять.

С другой стороны, редко, когда намерение действующего лица действительно остается чистым и безупречным. Большую часть времени оно избегает контакта с противодействиями (не всегда, например, имеет необходимое тактическое оружие), пересекается с намерениями других действующих лиц (есть не один план сражения, а два), неразумные побуждения заставляют самих действующих лиц забыть о своей подлинной цели и об использованных средствах (например, паника охватывает войска). Короче, совпадение между событием и намерением представляет собой исключение, а несоответствие — правило. Политическая или военная история

следуют за пересечениями намерений, одни из которых сочетаются, а другие противостоят друг другу, которые, в свою очередь, действительность то разочаровывает, то удовлетворяет. Она содержит в себе то, что произошло, ссылаясь на то, что было мыслимо; она содержит в себе то, что было мыслимо, восстанавливая наследие прошлого, которое действующие лица перед собой открыли как состояние.

На этом нижнем уровне уже заметна связь между значением и целостностью. В самом деле, битва не есть пространственно-временное единство материального характера. Она есть единство благодаря значению, которое ей придают действующие лица или зрители. В случае битвы при Каннах границы во времени и пространстве до такой степени легко заметны, что легко забывают о том, что битва делится на бесконечное множество индивидуальных действий. Но если представить пограничные битвы (в 1914 году) или русскую кампанию (1941–1944), то, очевидно, увидят, что событие есть конструкция сознания, которая более или менее вписывается в историческую действительность, поскольку сами действующие лица пережили событие как единое целое, но в подвижных границах, всегда поддающихся пересмотру в зависимости от любознательности наблюдателя.

Если целостность выявляется относительно смысла, то смысл в свою очередь выявляется по отношению к целостности. Движение каждого отдельного тела понятно именно благодаря тому, что его ставят на свое место в ходе битвы, причины и следствия понятны именно благодаря тому, что битва ставится на свое место в эволюции пунических войн, значение самих пунических войн понятно именно благодаря тому, что их ставят на свое место в ходе античной истории, борьбы за господство в Средиземном мире, в колебаниях между имперским единением и равновесием держав. На всех уровнях — на уровне ли отдельного факта, стесненного границами поля или дня, на уровне ли крупного факта, как, например, Римская империя или мир Средиземноморья, — историк разрабатывает целостности и создает значения, что представляет собой двоякую характерную черту воссоздания прошлого.

Нет ничего полезнее как для развития логики науки, так и философии истории, чем строгий анализ различных типов целостностей сверху донизу. Конечно, есть огромные различия между

такой целостностью, как Марафонская битва и с такой, как Средние века. Но эти различия, которые нельзя точно определить, являются скорее всего различиями по степени, чем по природе.

Могут сказать, что целостность «Марафонская битва» есть средство группировки фактов, совершившихся в течение дня в одном хорошо определенном месте пространства, а целостность «Средние века» есть средство организации столетий истории, а не соотнесения отдельных фактов с целостностью; она, делая акцент на том или ином аспекте этого периода, дает возможность воспринимать часть действительности, игнорировать другую часть или, по крайней мере, подчинять второстепенное главному. Другими словами, первая целостность используется для группировки, а вторая — для выбора и ориентации. Но эта противоположность не абсолютна. То, что произошло в сознании греческих или персидских воинов в течение знаменитого дня, полностью исчезает из рассказа, а события запоминаются только в соотнесении с битвой — замысел каждого подразделения, удар армий, победа афинских граждан. Иначе говоря, выбор и направленность не отсутствуют в парцеллярной целостности, хотя они в ней смягчены.

Могут еще сказать, что действующие лица мыслили битву как таковую, а Средние века есть ретроспективное понятие. Конечно, но мидийские войны уже мыслились менее ясно, и если Средние века мыслились как таковые, поскольку они определяются своим будущим, то мысль об эпохе, наступившей после эпохи Римской империи, витала в сознаниях, долго связанных с имперской мыслью после исчезновения имперской действительности. Поэтому верно, что историк то собирает имена целостностей — политическое образование или исторический период — прямо из возрождаемого им прошлого, то переносит их на мертвых. Но он никогда не конструирует целостность, которая хотя бы в виде эскиза не присутствовала в прошлом; он всегда переосмысливает целостность, которую доставляют ему источники.

В этом примере важная противоположность проявляется между статической целостностью и целостностью, находящейся в становлении. Средние века можно понять только благодаря тому, что им предшествовало и что последовало, т. е. благодаря античному миру и современной эпохе. Битва, тип государственной организации, экономический режим сами по себе могут быть поняты и соотнесены со своими собственными принципами. Впрочем, есть множество

различий, которые интересно было бы углубить. Отношения между людьми, идеями, материальными силами, создающими целостность экономического режима, не проявляются как таковые ни в политической целостности, ни в культурной. Чисто идеальная целостность, как религия, имеет другую структуру, другую форму постоянства и изменения, чем такая реальная целостность, как капиталистический строй.

С нашей точки зрения, основной проблемой при обозначении границы между наукой и философией истории является проблема самых крупных целостностей: цивилизаций (или культур на языке Шпенглера). Еще точнее: что происходит, когда историк, намереваясь уловить целостность человеческого прошлого, охватывающую совершенно различные реальности, цивилизаций, которые фактически не были связаны между собой? Пока мы находимся внутри западной цивилизации, у нас складывается впечатление, что мы не покидаем определенную историческую целостность. Каждый согласен с тем, что эта целостность носит туманный характер, что границы неразличимы, что переходы от античного мира к Средним векам и от Средних веков к современной эпохе неощутимы и что историки могут произвольно раздвигать или сдвигать эти разрывы. Данные сомнения неотделимы от действительности и исторического познания. Наилучший метод их преодоления — устроиться в самом сердце периода или изучаемой цивилизации и постепенно подниматься до того момента, когда отличительные черты стираются и дают возможность увидеть в основном другую целостность. Но когда историк склоняется к всеобщей истории или сравнительной истории (или социологии) цивилизаций, возникают две новые трудности. Как разграничиваются высшие целостности, которые Шпенглер называет «культурами»? Как их определить? Сколько их насчитывать? С другой стороны, можно ли ограничиться их рядорасположением? И если их хотят объединить в целостность единой истории, то откуда берутся принципы объединения?

На этом уровне, думается, дух способен пойти по двум различным путям. Либо он хочет выделить из самой действительности ритм собственного развития, основное свойство каждой целостности, либо он уловит истину прошлого путем ее извлечения из всей философии человека, и как раз истина этой философии гарантирует ему истину предполагаемой им интерпретации прошлого. С одной стороны —

Шпенглер, с другой — Гегель. Либо целостность (даже разнообразная) реальна, либо она есть прежде всего целостность истины, даже если истина становится таковой через историю.

Бесспорно, нам напомним, что даже во всеобщей истории, руководствующейся только отражением реального, проявляются философские решения. Кто займет место в этой истории? Какая абстрактная система ценностей вовлечена более конкретными системами, с помощью которых интерпретируются «культуры»? Какая-то философия имплицитно проявляется во всей всеобщей истории, эта философия предполагается в источниках так же, как и то, что предлагается ими. Несмотря на все это, всеобщая история или сравнительная история «культур» в духе Шпенглера является одновременно и более претенциозной и более скромной, чем философия истории. Более претенциозной, поскольку она хочет прочесть в самой действительности большие линии становления. Более скромной, поскольку она эксплицитно не имеет в виду установления истины о человеке.

Остается узнать, не является ли истинная философия истории одновременно более приемлемой и более поучительной, чем эти скрытые в эмпиризме философии. Не нужно ли историку-философу знать истину о человеке и о своем становлении, чтобы была одна целостность человеческого прошлого и чтобы можно было интерпретировать смысл? Именно относительно свободы сознающего себя духа или бесклассового общества прошлое конструируется в целостность, и кровавое наследие полисов и империй приобретает смысл.

3

Марксизм является единственной философией истории в том смысле, о котором мы только что говорили, т. е. единственной интерпретацией человеческого прошлого в его целостности с точки зрения метафизики, оказывающей сегодня широкое и глубокое влияние на западную цивилизацию. К тому же большинство из тех, кто его исповедует, забыв о гегелевских истоках своей веры, переведя диалектический материализм в план науки и факта, превратили свою философию в апологетическую идеологию.

Зато попытки всеобщей истории или сравнительной социологии «культур», философии истории с эмпирическими претензиями в стиле

Шпенглера или Тойнби, кажется, представляют собой отличие нашей эпохи. Даже отвергнутые историками, они влияют на историческое сознание нашего времени.

Данное сравнение кажется нам поучительным. Единственная философия о единстве человечества на протяжении всей истории восходит к прошлому веку. А философии неумолимой плюралистичности восходят к сегодняшнему дню. Это простое, правильно понятое предложение, на мой взгляд, покажет нам то, что характеризует новую ситуацию философии истории в западной мысли.

В определенном смысле закат философии истории является противоположностью прогресса. И здесь тоже наука как кропотливое и терпеливое исследование действительности изгоняет сказочные или схематические представления. Никогда, ни в одну эпоху люди не имели такого разнообразного зрелища, никогда они не располагали таким политическим, социальным и экономическим опытом, никогда они так очевидно не представляли, что во всех областях человеческой индивидуальной или коллективной деятельности возможны различные учреждения, которые могут быть жизнеспособными и преходящими. Идет ли речь о переходе от демократии к тирании, от частной инициативы к административному управлению, от наций к империям, прошлое нам непосредственно дает примеры, которые по призыву историка и человека действия возобновляют жизнь и предлагают нам противоречивые уроки, всегда подчиняющиеся нашим желаниям.

Все большее и большее изучение прошлого, накопление исторического знания наносят удар по упрощениям философов-вульгаризаторов, по наивной гордости тех, кто еще вчера выдавал нашу цивилизацию за образец и судью цивилизации *вообще*. Всеобщие истории или социологии «культур» продолжают это мнение. Поскольку имеется неумолимая плюралнеточность общественных режимов, политических учреждений, пониманий мира, историк должен стремиться понять каждую из этих форм в своем своеобразии, снова найти вдохновляющее стремление, собственный дух каждой крупной целостности. То, что Мейнеке называет историзмом — усердное сознание умерших и творения, созданные человеком на протяжении веков в своем неисчерпаемом богатстве — бесспорно представляет собой главную черту нашего исторического сознания.

К этому неоспоримому множеству прибавилась философия плюрализма, которая достаточно преодолевает все фактические

данные. Когда Шпенглер представляет нам замкнутые в себе «культуры», не могущие общаться друг с другом, то он настолько преодолевает опыт в смысле плюралистичности, насколько его преодолевали философы истории в смысле единства. Как мы показали, все глобальные видения прошлого, считающие себя эмпирическими или метафизическими, связаны с перспективами, избранными интерпретатором. Шпенглер выбрал противопоставление «культур» и продвинул это противопоставление так далеко, что его теория, интерпретируемая буквально, исключает саму возможность его творения. Если культуры не в состоянии понимать друг друга, то почему один Шпенглер может понимать все культуры?

В менее строгой форме философия плюрализма продиктована, по крайней мере, зрелищем людских богатств и заботой иррациональных элементов: чувствами, религиозными верованиями, художественными стилями. Начиная с того момента, когда связываются с вечным фейерверком мифов и искусств, так же как с прогрессом знания и мощи, история неизбежно дробится на бесконечное число человечеств: каждое по-своему чувствует, живет и представляет огромный мир.

Таким образом, мы приходим к философии истории, которая характеризуется решительным отрицанием исторического единства. В становлении дозволено видеть лишь деградацию человека, который сам по себе понятен вне времени.

В этом случае история превращается в объединение более или менее случайных фактов, более или менее связанных каузальными отношениями. Нет исторической целостности. Нет реализации человека или мысли через становление. Такое отрицание истории (по крайней мере, характерное для античной мысли) не вскрывает духовный кризис. Человек находит принцип организации космоса и обнаруживает свою незыблемую цель в осуществлении своей сущности. Но отрицание исторического единства современной философией плюрализма имеет совсем другой характер. Оно не превращает историческую целостность в хаос, в котором индивид или коллектив свободно прокладывает себе путь или осуществляет свое призвание: каждую историческую целостность она считает реальной, каждая из них стесняет составляющих ее людей. Каждая целостность расцветает в соответствии со своим собственным бытием подобно растению, обреченному на увядание на следующий день после своего цветения. Неотразимая история без цели и без глобального единства, но

с отдельными блоками — такова догматическая философия плюрализма, которая оказывает давление на наше историческое сознание. Больше нет единой целостности, так же как и смысла целого.

Марксизм, напротив, вычленяет реальность из целого, придавая ей смысл. Преодолевая капитализм, создавая общество, где индивид будет общаться без посредников с государством, особенно со всеобщим, преодолевая отчуждения, человек добьется царства свободы и реализует себя. Вереница социальных режимов, необходимая для этого становления человека, получает смысл во всей истории (всей не в том смысле, что она сохраняет все факты, что абсурдно, а в том смысле, что она все их соотносит с истиной о человеке). Сама классовая борьба, связанная с производственными отношениями, позволяет схватить все эпохи и все общества в их истинности. Не потому, как этого хотела позитивистская философия, что производственные отношения детерминируют все (что немислимо), а потому, что с развитием производительных сил производственные отношения и классовые конфликты дают возможность определить этапы диалектики, через которую человечество достигает свободы.

Марксизм, каким бы политическим влиянием он еще не обладал, впрочем, очень часто в вульгарной форме, на мой взгляд, уже принадлежит прошлому. Своим оптимизмом он восходит к XIX веку. В сущности, он не дает ответов на вопросы, которые порождаются его собственным развитием или развитием исторических формаций.

Главное своеобразие западной цивилизации в современную эпоху состоит в выработке позитивной науки, в индустриальной технике, в господстве, которое человеку удалось осуществить над вещиизмом и над самим собой. Исторический оптимизм связан с верой в науку или скорее всего в цивилизаторскую силу науки. Знание должно излучать мудрость. Человек — господин и обладатель природы — должен также господствовать над самим собой. После победы над вещами мир между людьми установится сам собой.

Разумеется, марксистская философия не признает однолинейного, фатального развития. Она провозглашает необходимость борьбы за преодоление противоречий. Эксплицитно она не рассуждает о прогрессе. Но в интерпретации, данной ей сторонниками, она содержит эквивалент. Развитие науки и производительных сил действительно ведет к освобождению человека, к единственному условию, когда в один момент будет уничтожена капиталистическая система и

установлена общественная собственность. Другими словами, марксизм утверждает, что человечество одновременно достигнет господства над самим собой и над природой при условии, что революция даст власть организованному рабочему классу.

Однако опыт социализма показал, что вместе с ликвидацией капиталистической эксплуатации не исчезают все формы эксплуатации. Он показал, что бюрократическая тирания есть одна из возможных форм режима, который следует за рынком и частной инициативой; он показал, что управление толпой, объединенное с управлением природой, дает возможность руководящей элите пользоваться своего рода абсолютной властью, по сравнению с которой власть королей или вчерашних диктаторов кажется такой же незначительной, каким незначительным кажется копьё по сравнению с винтовкой или 75-миллиметровой пушки по сравнению с атомной бомбой.

Рост влияния плюралистических философий истории и закат унитарных философий, которые, начиная с Августина Блаженного, находили в веренице империй или социальных режимов восходящие этапы человечества, на мой взгляд, тоже является характерной чертой современной ситуации. Никогда человечество в масштабе всей планеты не было так близко к тому, чтобы составить единство. Перед наукой, являющейся гордостью Запада и его непреодолимой силой, оплоты древних цивилизаций Дальнего Востока рухнули, и едва не закончившаяся во время войны машинная цивилизация совершила победоносное шествие по планете. Но Запад, с тех пор, как он больше не уверен в том, что наука рождает мудрость, и игнорирует то, что сам может стать в свою очередь жертвой своих творений, задается вопросом: предпочитает ли он то, что привносит, тому, что разрушает? Он скорбит о прелестях индивидуальных жизней, которые душил шум машин, покрывает дым доменных печей.

Всеобщие философии дрогнули с тех пор, как сила, которая действительно объединяет пространство людей, науку и индустрию, больше не внушает такого же доверия, которое внушала в прошлом веке. Запад больше не уверен в себе, если не уверен в силе своего самого грандиозного творения. Лишенный Космоса и истории, человек оказался связанным только с Богом. Эта связь, независимо от того, какой она является, позитивной или негативной, экзистенциализмом христианского или атеистического толка, есть результат кризиса,

который лишил человека естественного и исторического порядка, оставил его одного и голого перед таинственной судьбой.

Отсутствие и потребность в философии истории тоже являются характерной чертой нашего времени. Человечество осознает, что оно вовлечено в авантюру, где ставит на карту и свою д^шу, и свое существование. Оно больше не сможет предаваться иллюзорным богам прогресса. Не сожаление об удобных схемах, уничтоженных успехами науки, вызывает его ностальгию. Оно согласно на терпеливый и медленный, в сущности незавершенный анализ. Оно не мирится с тем, чтобы больше не думать, больше не желать будущего.

Перевод с французского И.А. Гобозова